



Андрей Sh

НЕДЕЛИМОЕ

PRO-ЛЮБОВЬ...

ПРО
ЛЮБОВЬ

104°

Андрей Sh

Неделимое. Про-любовь...

«Издательские решения»

Sh A.

Неделимое. Про-любовь... / А. Sh — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-859392-5

Действие книги происходит в городе, поделённом Чертой по 104-й долготе. Лишь невероятные события помогают героям её преодолеть, обретая неделимую любовь и веру.

ISBN 978-5-44-859392-5

© Sh A.

© Издательские решения

Содержание

Умида2	6
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15
6	17
7	20
8	22
9	24
10	25
11	27
12	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Неделимое Про-любовь...

Андрей Sh

*Если в мире всё бессмысленно, что мешает выдумать какой-нибудь
смысл?¹*

Редактор О. Е. Арбатская
Корректор Ю. В. Поликарпова
Иллюстратор А. А. Мартынова

© Андрей Sh, 2017
© А. А. Мартынова, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4485-9392-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Из материалов уголовного дела №777-АП: «В ночь на *** свидетель находился по адресу ***. Это подтверждает супруга потерпевшего. О случившемся свидетель узнал из дневных новостей. Был удивлён, что всё произошло в непосредственной близости от табора и от Сечения. Дословно: „*** слишком ответственный, чтобы так рисковать“. Кроме того, свидетель считает потерпевшего человеком *крайне положительным во всех отношениях* (подчёркнуто им же): не агрессивным, с умеренным потреблением алкоголя, в отношении лиц цыганской национальности бесконфликтным. На вопрос, что могло бы явиться мотивом преступления, ответил: „Любовь“. Иное не пояснял».

- Любопытно. Где вы это откопали?
- В архиве.
- Разумеется. Мог бы не спрашивать. А почему вымараны адреса, фамилии?
- Так что такое любовь?! – судьба явно терял терпение.



Умида²

1

Меня постоянно попрекают: про Сибирь не пишу, земляков, малую родину не люблю и родню не особо жалуя. Чего греха таить? В чём-то правы. Не жалуя. Но и «нелюбовь» – понятие слишком веское, как оплеуха, и чрезвычайно ответственное, чтобы запросто так отвешивать. «Любовь» послабее будет, вообще – метафора недочувства или недосостояния, толком никем не описанного. И податлива, как дитя. Не улыбается лишь отъявленным негодьям, да и те себя мнят обласканными.

А «не любить» – искусство, тут важны мужество и убеждения, а не фанатизм романтика, воспитание ненависти, если хотите. Я же добрый и, скорее, приёмыш тут: одет, обут, сыт, обласкан, когда-то во что-то вовлечён, но приёмыш. Не могу не ценить стен и крыш, защищающих от морозов, не уважать людей, отворяющих двери незнакомцу, не восхищаться природой хоть раз в году. А стать частью, совпадением этого, «во-сибиряком» (как в послевоенные, с придыханием) не способен. Чёрт его знает. По ошибке родился не в той широте, не в той долготе. Отсюда постоянный комплекс вины: недодал, недолюбил, недописал. «Недо...» определяет и меня, и мою среду обитания, и наши взаимоотношения с ней. И «недоумок» тоже. Чуть бы ума, нашёл бы за что ухватиться. А так, и недорастратил. Барыга совсем никудышный: уезжал, тосковал, возвращался. Быть где-то полным, цельным, хотя бы неубывающим, не получалось. И терпеливая Сибирь, благодушный Иркутск прощали, создавая видимость упакованности. Как и я терпел, обманываясь.

Что же теперь? Жизнь оказалась намного короче иллюзий. Вернулся в очередной раз, не имея ни веских оснований, ни угла, не представляя куда возвращаться. Помыкался по окраинам в убитых квартирах, пока не подвернулась студия в центре у институтского приятеля – заодно соседа. Подальше от повзрослевшей семьи, беспокойных родителей и прежних знакомых. Засел за очередные «терзания Пера Гюнта»: бесполезные, злобные, традиционно безнравственные, столь же оторванные от реальности, как и от малой родины. В общем, неплохо проводил время. Писал, читал, «просвещался» ужасниками, боевиками, завтракал в полдень, бродил, выковыривая артефакты зодчества, пил кофе, снова писал, предвкушая окончание дня: ночные прогулки, когда на улицах никого, а ты скользишь маршрутами двадцатипятилетней давности и будто снова при деле. Днём не чувствуешь. Днём этот пафосный мирок изнывает от жадности: вызывающе кичится рекламой, стеклянными новостройками (на иных и табличку с адресом навесить негде); бесцеремонно теснит бутиками, ресторанами, лезет в тебя звенящими офисами; выжигает перламутром авто и бронзовой дурью от прогнувшихся меценатов (совершенно идиотской скульптурой, вроде придурковатого туриста на Карла Маркса); дожимает всякой ерундой из уличных радиоточек, которая обязательно добавляет с десятков лет к походке и делает старость хорошо узнаваемой и невыносимой. Зато ночью все кошки серые, даже те, что блаженно дрыхнут под софитами в тотемных витринах.

Размышлять в одиночестве не особенно получалось: голова, забитая ностальгией, разве в ней и находила изуверское удовлетворение – одно по одному, как робинзоново море. Оттого я чаще наблюдал, поддакивая внутреннему брюзжанию: «в наше время», «в моё время», «было время». Да, старел я, быть может, и не расторопно для окружающих, но вполне стремительно для себя самого: утешался, что боль в правом колене на первой ступеньке и покалывания под лопаткой слева между третьим и четвёртым этажами – к мудрости, некое подобие возрастного счастья. Потом включал ноутбук, часами пялился в пустой экран и не мог воспроизвести ни строчки от сомнительной радости: всё, что наполняло день вчерашний, сегодняшний, завтрашний и на год вперёд разбивалось о беспочвенные образы и односложные фразы. Вдруг обнаруживал, что организм – предатель и ему всего-то сорок три, и что по-прежнему недурно одет, обут, часы неплохие, брутально побрит. А колики... Ну, курить меньше, кофе – не ведрами,

цель – определённую, по крайней мере, в мозгах прямую. Вот! Не хватало события, крюка литого, надёжного, присобаченного дюбелями намертво, а не на двухсторонний скотч, такого, чтоб нагрузить на него тонны воспоминаний – нужные, ненужные. Все! Память не избирательна (уверен, пока не в маразме). И тогда всё бы сложилось иначе, даже здесь, в Сибири. И не обижалась бы родня, и я бы никого не обижал. И писал бы о героических буднях отечества и земляков. И не попадались бы сложные туманные лица, скучные. И не испытывал бы любовь равнодушием. И дни недели обретали бы смысл: и пятницы, и понедельники. И нашёл бы что-то, непременно нашёл... Но, увы. Не придумав ничего стоящего дома, я пытался сделать событием хотя бы момент возвращения. Потому и уезжал без определённой цели.

2

В общем, так и прослонялся бы по путаным кварталам, расширяя радиус вопреки сознанию, или добрёл бы до аэропорта налегке, до кладбища, а то и до соседнего городка, или затерялся бы где-то в трущобах Копая – или-или. Но тут наудачу появились цыгане. Нет, само по себе событием это не назовёшь. Так или иначе традиционные попрошайки возникали где и положено – на рынках, вокзалах, пешеходных улицах: клянчили, дурили, гомонили и... исчезали неизвестно где. А эти... Деловито распаковавшись на Юности³ по старинке табором (палатки, навесы, костры, котелки, бельё на верёвках, гитары, прислонённые к деревьям; чумазые оборвыши мал мала меньше; энергичные женщины в пёстрых одеяниях, смуглые и большеглазые, экзотичные, как креолки; мужики в цветных рубахах и кожаных жилетках, с золотом на шее, во рту и ушах; парочка-тройка лошадей, кибитки, облохмаченные ветрами, архаичные лодки с неплохими моторами), чувствовали себя непринуждённо, в меру галдели, на людях без нужды не показывались, разве в ближайшем супермаркете. И что удивительно, никто их не трогал, не гонял, не боялся: и стражи порядка точно сигнал получили, и наркоманы стороной обходили, и в газетах – ни слова. Хотя и отдельного желания заглянуть на остров не возникало: запущенный, провонявший испражнениями и алкоголем, превратившийся в клоаку в самом центре Иркутска, он давно перестал быть местом романтических встреч и степенных прогулок.

Я наткнулся на цыган случайно. Захотелось на исходе августа перед сном продышаться Ангарой, бодрящей в это время, остывающей, вязкой, предвосхищающей осень посиневшими берегами. Тепла в Сибири всегда не хватает, и, как ни смиряйся, прощаешься с ним особо. Бродил по набережной то в одну, то в другую сторону, пускал дым и рассматривал сквозь него мерцающих светлячков за рекой, предвкушая новогоднюю иллюминацию. Медитировал, как умел. Так и увидел пляшущие огни в районе танцплощадки на Юности, точнее, её развалин. Это могли быть рыбаки (нелепое предположение) или шпана, провожающая лето, или гоблины, раздобывшие плоти. Заскучавшее воображение рисовало чёрт те что, а ноги несли к узкой дамбе, соединяющей остров с парапетами – «крепостной стеной». Я, лазутчик, насчитал человек сорок, обойдя лагерь по краю сумерек и стараясь не шуметь: почему-то никто не спал, даже беззвучно резвящаяся малышня, люди сидели у костров, что-то пили по кругу из закопчённых кружек и говорили так тихо, что гул комаров казался воем истребителей. Всё чин чинном, прилично. Подумалось – киношный табор, если бы не сосредоточенные лица, чуждые той романтической мечтательности, что сопутствует пламени, ночи и звёздам. Как раз наоборот: предомной предстали стратеги, затевающие немислимое злодеяние. По меньшей мере... Скучно. Такого «добра» и без цыган хватает. Стало зябко, неудобно, тоскливо, и я отправился восвояси, разочарованный «приключением». Мир устарел безнадёжно. Уж лучше б действительно – гоблины.

Засыпая вспомнил, как однажды меня развела цыганка в аэропорту, всё до копеечки выцыганила, включая командировочные, бутерброды и диктофон, и пригрозила напоследок мужским проклятием. После этого долго обходил стороной ушлый народец, полагая себя случайной жертвой, а бродяжек – подлыми манипуляторами. Со временем неприязнь прошла, и какая-то часть кочевой культуры вернулась-таки в мою беспорядочную жизнь: песни, пляски, вольница – под настроение.

Но здесь... Что-то не так обстояло с табором. И на следующий день меня всё же потянуло на остров побродить, присмотреться... Но никто не обращал на меня никакого внимания. Все были заняты: штопали, варили, распрягали, наигрывали, насвистывали, передвигались энергично и вроде бы с определённой целью, а создавалось впечатление – бутафория и всё тут! Что-то настоящее, немного пугающее ускользало, либо оседало в душе тревогой. Неделями ошивался вокруг да около, подходил вплотную к кострам, к палаткам, к людям, чувствовал их

то луково-мускусный, то сандаловый запах, пытался заговорить, но так и остался не при делах, как незамеченный. И не улыбнулись, не подмигнули.

К концу сентября плюнул и решил поискать приключений в Азии, по крайней мере, переждать холода и скуку в комфортных условиях. Квартиру товарищ оставлял за мной, так что вернуться мог в любой момент. Моё «сел и поехал»⁴ его не удивляло. И вот, когда уже выкупил билет до Бангкока и упаковал рюкзак, цыгане возникли в городе с приветливыми лицами и с ворохом объявлений, развешивая их на каждом столбе, на каждом углу, оставляя в ларьках и магазинах. Всего три слова: «Переносчики. Остров Юность». Ни телефона, ни адреса, ни отрывных купончиков. Интрига. А дальше... случилось то, чего я так долго ждал, что называю с большой буквы Событием, что заставило стать участником изменённой реальности и летописцем в какой-то мере. Моя Сибирь, мой город, мои земляки слились воедино с миром и взяли меня в заложники, обложили днями настолько трагическими и невероятными, что недосказанная недожизнь показалась фатальной случайностью, мифом.

3

- Не трогай пульт, пожалуйста.
- Достали новости!
- Лиза!
- Да подавись!

Телевизор выключился в тот самый момент, когда злодей Леонсио домогался непокорной нестареющей Изауры: прошлый век с набором сентиментальных картинок и диалогов, оторванных от головы. Бесит заламывание рук: старомодно. Бесят бразильские страсти: где та Бразилия? Южную Америку вообще не зацепило. Особенно бесит свобода: романтика для рабов, паутина для дичающих женщин. А война за эфир – показатель статуса одиноких. Сериалы, порнуха, новости, спорт, таблица настройки – единственный доступный выбор, вот и собачится семейка время от времени. Отец улучает моменты, когда ни сына, ни невестки нет дома, и переживает раз за разом всё те же матчи, гонки, состязания: мнит себя провидцем, безапелляционно «предсказывает» результаты, неподдельно огорчается и радуется за секунды до финиша. Что происходит в мире – ему до лампочки, «мыло» – скучно, порнография – тем более: он парализован настолько, что вряд ли помнит и о самом желании. А Машенька слишком мала и гиперсамостоятельна, поэтому уже в два годика безошибочно угадала самое ценное в глухом эфире – шипящий экран на пустых каналах. Так и живём.

- Дождёшься, сучка! Заклею!
- Испугал!

Жалко её. Трудно ей. Однажды Егор психанул и залепил жвачкой сенсор экрана. Ничего не сказала. Ушла на кухню, ночь проскулила, как брошенная собачонка, день не показывалась, к вечеру пришла опухшая, зарёванная, растрёпанная, прощения попросила (и будь ты проклят за эти извинения, Егор), вымолила разрешение включать сериалы, когда мужа не будет дома или когда тот не захочет смотреть новости. А ведь могла бы и поторговаться, настоять, имея на руках тестя-инвалида. И пульт. И тихо-тихо (будь и я проклят, справедливости ради) прошептала что-то невнятное о любви, тепле, доверии, протянула руки к занятой по хозяйству Машеньке – та собирала разбросанные повсюду бутылки, коробки из-под фастфуда – и снова заплакала. Егор сжал зубы, оторвал жвачку и выскочил на балкон, оставив меня в компании сломленной жены и угрюмого отца, не промывавшего ни слова за время распри. И заботы о дочке, разумеется, легли на безвольного квартиранта, добровольно поселившегося в эпицентре конфликта. Издержки коммуны. Явился «урод» через сутки, как обычно пьяным, злым, отходил традиционно долго, и это многодневное молчание, всегда особенное в наших краях и обстоятельствах, изводило похлеще ссор. Не мирились толком, просто начинали разговаривать, пытаясь выказать в пустых диалогах хоть какую-то человечность.

– Лиза, заткнись! – Егор закипал: со времени последних крупных разборок не прошло и недели. – Доведёшь-таки, стерва!

– А ты не довёл?! – знакомо парировала супруга. И я знал, что за этим последует, но бежать не успел, как водится. – Пьянь! И ребёнка голодом моришь!

- Лиза! – похмельные глаза Егора налились кровью. – Только что ели! Не видела?
- Кормишь дерьмом! Терпилу бы постеснялся!

Терпила – это я. Ненавижу проклятое прозвище, не имеющее ничего общего с реальным человеком Матвеем Терпиловым. Уникальный диссонанс, когда не семантика, а фонетика формирует образ. В моём случае – чуть не со школьной скамьи. А разгневанная Лиза упражняется всякий раз, когда особенно хочется «врезать» мужу, обозначив никчёмность мужской солидарности: вот-де и приятели тебе под стать (и приятелю, коли вякнет, есть что припомнить). А бывают и статусные уязвления: по имени, имени-отчеству, по фамилии с ироничной пристав-

кой «господин». Последнее особенно бесило. Ведь и Егор когда-то мечтал о реноме литератора, эдакого седовласого гуру в цилиндре, с тростью, с нашейным платком, а в итоге бросил журналистику, покрутился в коммерции, обзавёлся крохотной типографией и едва перебивался на чужих опусах. «Помойные деньги» – так и определял в прямом и в переносном смысле... Все эти уловки я знал и, ввиду нахождения на линии фронта то ли в качестве заложника, то ли иждивенца, сглатывал оскорбления, стараясь незаметно ускользнуть. Увы, не всегда успевал.

– Тварь! – в Лизу полетела пустая бутылка из-под водки: ноль внимания, рефлексy у нас давно атрофировались.

– Импотент! – обидно, учитывая обстоятельства, несправедливо и очень, очень по-женски: как ещё можно уесть недоступного мужа при скудности аргументов.

– Эк у вас гегемония разгулялась! В общем, так: закончите брачные пляски, верну Машеньку. А пока мы уходим. Пойдём, солнышко, погуляем...

– И никаких кафе, Матвей! – гаркнули в спину хором.

Девочка с благодарностью протянула крохотные ручки, перепачканные липкой кашей, точно ждала, когда же её избавят от семейных ценностей в пользу меркантильного похода за блинчиками. Тоже – традиция. А чем ещё подкупать ребёнка, растущего на овсянке и беспомощной любви родителей? Семейка и меня порядком достала, но Масыню жалел: она росла в новом, непонятном мире, самое жуткое – в непонятном ни для кого мире. Малышка не могла ни равняться на взрослых – те сами кувыркались в вакууме, ни толком познавать – учить было некому ни словом, ни примером. Да и любые знания на глазах превращались в пыль. Лишь «завтра» имело значение – вот что прискорбно, а о грядущем нетленном молчали все, включая астрологов. Но девочка пробивалась – маленькая сибирячка, как цветочек из асфальта, как пташка, живущая в сером гнёздышке у облаков. На пятом этаже. «Но однажды расправятся крылья...» Так и рассказывал, чтобы не боялась пожарной лестницы.

4

Вечерний Иркутск, в общем-то, оставался неплохим местом обитания, и прогулки по нему, в силу семейных обстоятельств Егора, были единственным подобием уюта. Включая ограниченность пространства. Если бы не черта, поделившая город аккурат по 104-й долготе (плюс-минус минуты). Люди, застигнутые врасплох, оказались на полуострове, огибаемом Ангарой. Проведите умозрительную линию от трубы ТЭЦ-1 на севере до перехода к Юности на юге, и вы легко представите вотчину: несколько старых кварталов с музеями, банками, бутиками, кафе, гостиницей, университетскими корпусами, в том числе с родным филологическим; наиболее сносный кусочек щербатой набережной с памятниками, лавочками и деревьями; церковь и ещё полцеркви – как раз напротив нашего дома; старый мост с блокпостами – единственное, что связывало околотов с левым берегом и с остальной половиной мира; разумеется, и часть острова, где базировались цыгане, отошла к «западникам». Не много, согласитесь. С инфраструктурной точки зрения, «восточники» получили гораздо больше: основные транспортные и коммунальные коммуникации, большая энергетика, водозаборы, главные больницы, офисы, управления, торговые и развлекательные комплексы, какие-никакие уголья в районах – всё осталось у них. Не говоря о синагоге, костёле и мечети: выбор-таки для метущихся имяреков... Все имяреками стали. Приграничная зона, знаете ли, несколько обезличивает при прочих равных.

Но, положа руку на сердце, пострадал я меньше остальных, поскольку и до того обитал через эфир с родными, а если и встречались относительно тесно – исключительно по большим семейным праздникам или же для принятия судьбоносных решений. Нет, не хочу объяснять. Данность. А вот друзьям не повезло совсем, как и многим у треклятого меридиана. Черта диагональю прошлась по их квартире, частично затронув и мою примыкающую студию, в тот самый момент, когда Лиза встречала тестя после прогулки (его выносили и заносили специально нанятые соцработники), а Егор дурачился с дочкой в зале. Меня вообще не было: гулял по бульвару, а после попал домой по пожарной лестнице... Ощущения не из приятных, скользкие. Идёшь по привычному маршруту, сворачиваешь к подъезду и вдруг влипаешь мухой в прозрачный кисель: видишь, понимаешь, дышишь, различаешь цвета, запахи, но глохнешь и ни на миллиметр не можешь продвинуться дальше. Отступил чуть – порядок: и звуки с той стороны, и цели. Но уже недоступные цели – первое, что приходит в голову. Могу предположить, что пережили Егор с Лизой!

Рассказывали после, в красках. Сначала «залипла» Машенька: поползла за удравшим котом – тот беспрепятственно перескочил на другую сторону комнаты, а вот доченька на глазах у «охреневшего» папы (сорри, но другие эпитеты неуместны), впервые самостоятельно встала на ножки, держась за... ничто, за воздух. Не испугалась, в силу любопытства и неискушённости, напротив, весело заверещала, пытаясь дотянуться до самодовольной животины. А то! В каком-то веке не нагнали, не выкубли хвост. В тот же момент появились и мама с бабушкой, и где-то в середине зала коляска упёрлась во что-то, не имеющее ни формы, ни содержания. Елизавета оскорбилась, подумав, что тестя издеваются, включив тормоз, бросила его и попыталась подхватить малышку, млея от счастья. Но семейный восторг был недолгим... И поначалу это показалось забавой, игрой, но вскоре одолел ужас, перешедший в оцепенение: дошло наконец, что никто из разделённых чертой не может ни перешагнуть её, ни прикоснуться друг к другу. Вообще, понимаете? Никто на целой планете! И как Егор лишился собственного туалета или глотка воды на кухне, так и бедолага какой-нибудь в Мексике не добрался до текилы в баре или завис у любимого кактуса.

Позже приспособились как-то, унялись истерики. А в злополучный день убытки никто не подсчитывал. У меня отчекрыжило прихожую, выход в подъезд, закуток с плитой и холо-

дильником, но не затронуло раковину и шкафы с посудой, в ванной комнате – унитаз и стиральную машину, а главное – большую часть студии и балкон, где имелась пожарная лестница. Потери же Егора – катастрофические: из просторной четырёхкомнатной квартиры ему остались небольшой треугольник зала с диваном, горкой и телевизором, и окно с «шикарным» видом на просвет Ангары. Просто беда! Нужно было срочно выручать пленников, особенно малышку, сильно оголодавшую, пока я соображал, как вернуться домой. Кувалда и лом нашлись на заброшенной стройке за «Интуристом», а старая пятиэтажка (спасибо товарищу Сталину) имела толстые, но податливые кирпичные стены. В общем, нелитературные выражения, мозоли и два часа монотонной долбёжки объединили унылые заточения. Машеньку накормили, кое-как выкупали в раковине и уложили на пуфиках. Благо, утомлённый впечатлениями ребёнок не сразу сообразил, отчего засыпает не в своей кроватке и почему мама так странно завывает колыбельную рядом и не целует на ночь.

5

Вообще, она – смелая девочка и любопытная до безобразия. Когда ты маленький, мир кажется таким громадным, что соседняя улица – путешествие, квартал – приключение, а, например, поездка к бабушке в другой часовой пояс – целая жизнь. По большому счёту, бессмысленный смысл для взрослого. И так бывает. Здесь же – эквилибристика и подвиг бонусом. Первый раз мы освоили маршрут, когда ей не было ещё и годика. Тогда же начались и первые семейные сцены в новом формате. Конечно, Лиза с Егором и раньше скандалили, как это случается, если детей всё нет и нет, а муж почти в два раза старше супруги. Но те ссоры были какими-то наигранными, более чем бытовыми, вытекающими из амбиций молодой женщины и вечной расфокусированности мужчины среднего возраста, не несли глобальной угрозы семье и тем более не представляли риска для жизни: всегда могли договориться и заново пережить медовый месяц, даже если кто-то случайно сходил налево (понятно, кто). Нет-нет, вместе они были преданы, заботливы и взаимозависимы, но столь же свободолюбивы и полны скептицизма по отдельности. Так уж устроено всё. После нескольких лет супружеской жизни волея-неволей начинаешь подозревать или готовить почву для подозрений. Как и социум определяет крайнего: появился кто рядом – лучше него становишься. И всё же те стычки – цветочки по сравнению с локальными конфликтами, которые в последующем возникали чуть ли не каждую неделю. Со временем я научился прикрываться крестницей (уж не знаю, кто у Машеньки крёстный, но в силу событий взял эту роль на себя), уносил ноги в город: лучше переждать, чем быть козлом отпущения в сочном аду...

Так вот, и годика не было малышке, когда я упаковал её в импровизированную переноску (сообразил из любимого жёлтого рюкзачка: вырезал дырки для рук и ног), затянул лямки, бросил родителям что-то приличное для детских ушей и вышел с балкона. Тогда мы преодолели расстояние до земли минут за пятнадцать-двадцать: то и дело останавливался, балансировал, как беременная панда, вытирал вспотевшие ладони, ощупывал «плод», а Машенька весело верещала. Я и один-то до сих пор спускаюсь со сжатыми ягодицами, а тут на груди болтался живой паучок, размахивая конечностями и норовя выскочить из «живота», цепляясь за перекладыны. Всякий раз вспоминаю и холодею от ужаса: непреходящий страх от недоверия к самому себе.

Впрочем, сегодня мы спустились минуты за полторы, быстрее обычного, судя по тому, что крестница не успела пропиликать ритуальный стишок. У неё забавная речь, слишком сыпучая для этого возраста: приличные чёткие согласные, часто ускользающие, и невообразимые модуляции гласных, возникающие в самых неожиданных местах. «Матвей» – «Матей» или «Мавтей», а то и «Амтей», «мама» – «амама», папа – «апап», «дедушка» – «едушка». Смешно. А главное – выражение, вариации! «О-о-ё-й! Еслинька очаееса, сисяс – бух! Ёпадё-о-м!» Заметьте, образно, импровизированно, и социализация налицо. «Ёпадём!» В одиночку Масяня ни за что падать не собиралась. И, честно говоря, депрессивное пророчество на высоте в десятков метров поначалу сильно нервировало. Потом ничего, привык, смирился. Сам в конце концов научил «про бычка».

– Ни ёпадём, – с явным сожалением констатировала малявка, вытряхнутая из рюкзака на землю.

– Поживём ещё, Мася. Пойдём?

– Злать?

– Кушать.

Блинчики Маша любила – единственное легкодоступное счастье по эту сторону жизни. Семьсот за порцию с вареньем, тысяча – со сгущёнкой. Дорого. Но то, что мир уже никогда не будет щедрым, я понял не вчера и не год назад. И тоже смирился. Мир изменил челове-

ству задолго до прихода цыган, или изменил лишь мне, поочерёдно утратившему ощущение уюта, комфорта, удобства, после – свободы. Вот это кафе, по счастью оказавшееся в нашем же доме со стороны реки, помню ещё со времён работы в газете – недорогим баром с домашней обстановкой, с окнами в пол, где хоть до петухов позволялось сидеть в мягком кресле, пить кофе, курить и творить этакое замысловатое, навеянное замирающей улицей и одиночеством излюбленного столика под васильковым торшером. И бармен тебя узнавал на крыльце, и симпатичная официантка не предлагала лишнего, и только после полуночи намекала на первую рюмочку кальвадоса, а к утру, когда уже слишком хорошо, достаточно мягко и виновато улыбалась и приносила финальную чашечку двойного эспрессо.

Потом всё стало меняться стремительно. Сначала запретили курить, бар превратился в обычную забегаловку с дешёвой водкой, раскисшими пельменями и с незнакомой унылой миной за стойкой. Плюс постоянно исчезающие официантки: грубые, инфантильные. Пропали торшеры и занавески, а крепкие деревянные столики и кресла сменили поцарапанные пластмассовые столы и стулья в рядок, как в заводской столовке. Какая-то часть моей жизни, вышвырнутая на крыльцо и в жару, и в холод, приспособилась под эти правила, другая же продолжала тщетные попытки творить, находя комфорт в самосозерцании. Лишь кофе до последнего оставался сносным. Вскоре и того не стало. Бармена упразднили вместе с алкоголем, забегаловка переквалифицировалась в дешёвую кондитерскую с дебелими буфетчицами, вернулись деревянные столики и кресла, но смотрелись они убого на фоне пустых стен, невымытых окон и кукольной витрины с муляжами сладостей. Понятно, об ароматной чашечке не могло быть и речи. Единственное удобство заключалось в близости перекуса. И работать, и пить с тех пор, весьма непродуктивно и с тяжкими последствиями, я предпочитал дома, униженный повинованием. Так-то вот. У каждого в нашей стране есть предельный уровень, за коим свобода «в частности» перестаёт быть свободой «вообще». У меня отобрали право курить, и это открыло глаза на всё остальное.

Сегодня здесь – харчевня «У бабушки Сони». Так зовут новую хозяйку заведения, весьма остроумную, симпатичную и предприимчивую даму лет тридцати, без комплексов. Несмотря на злобную табличку при входе, написанную её рукой – «Кризис? Пора учиться выживать без денег!», тут подают вкуснейшие блинчики, оладушки, супы с тушёнкой, рыбными консервами, китайскую лапшу, макароны по-флотски, контрафактную выпивку или качественный самогон для убогих, и сносный растворимый кофе. Можно курить и заливаться хоть до беспамятства, а для знающих – и посерьёзнее что. Главное – платить вперёд и не приходиться с детьми после семи. А ещё – это единственное место на «полуострове», где категорически не терпели цыган.

6

– Приветик, Маша! – хозяйка, она же барменша, официантка и отчасти повариха, искренне радовалась девочке: эта бессрочная, доверительная любовь возникла спонтанно, и не от умиления друг другом, а на почве недолюбленности в собственных жизнях.

– Оя охросая! – Машенька бросилась в объятия и бесцеремонно уткнулась в соблазнительное декольте нарядной «бабушки».

Что бы там ни творилось вокруг, Софья неизменно выглядела бодрой, ухоженной, обаятельной, немного ошалелой Золушкой после полуночи. Этаким узнаваемой, прямо из детства: глянешь и сразу поймёшь – она. Как и сегодня: мокрые кучеряшки, воздушное платье-солнышко – жёлтое с широким чёрным поясом, белоснежный фартук, опаловый блеск на ногтях в тон изменчивым, чуть белёсым медовым глазам, круглым и забавно косящим, почти без косметики, как обожаю. Иные модницы маскируют красоту под боевой раскраской сексуальности, а некоторые усердствуют настолько, что и самый дорогой макияж выглядит посмертным гримом путаны. Вроде как чувствуют себя непорочными, защищёнными: тут – они, тут – не они. Поэтому я восхищаюсь мудрейшим изобретением косметологии – мицеллярной водой: она смывает впитанные тухлые лики, оставляя первородными доброту и нежность – уровень бога. Владей! Совершенствуй! По крайней мере, до выхода в свет... О да, мы дружили с Соней, если об этом, а до постели, увы, не дошло: внешность, знаете ли, коварна, особенно у одиноких блондинок в розовых кедах.

– Опять скандалят? – Соня усадила девочку на колени, тут же появились расчёска и цветные резинки.

– Снова, – пожал я плечами, пытаясь выказать полное безразличие. – У тебя что?

– Ни ёпадём! – поделилась Машенька.

– Не упали, – поправил крестницу.

– Это она о будущем, – засмеялась Соня.

– Кто знает будущее?

– Дети знают. Всегда знают. Что будет завтра, Маша?

– Ёдём гуать! Матеем! Хер-рачить цыи-гань-сину! – как на духу выпалила.

– Вот видишь. Подетально.

– Фу, Маша! – пьяный папашин лексикон, и это ещё корректно.

– С Егором собрались цыган херачить?

– Соня! Она же всё повторяет... блин...

– Блин! – чётко поддакнула Маша.

– Кстати, о блинах. Валя! Ва-аль!? Сделай Машане со сгущёнкой! А тебе?

– Как обычно.

– И триста с капустой! Всё?

– Пожалуй, – бонус постоянному клиенту по дружбе и чаевые сверху – то на то и выходило, дежурные три штуки – всегда в кармане. – Так как?

– А что со вчерашнего дня изменилось, Матвей? Ты постарел? Я похорошела? Всё обычно. Живём идохнем.

– М-да, не кувалдой, но изящно в лоб.

Помолчали. Паузу заполнила болтовня малышки, которая успела до блинчиков оценить сосредоточенных мужчин в дальнем углу («седитые», «сглупые») в одинаковых похоронных костюмах и в одинаковых рельефных головах, зализанных, как чупа-чупс. Явно с того берега, к тому же минималисты: литр и три стакана. Обсудила надоедливых цыганят, то и дело мельтешивших в окне чумазами колобками («шмешные», «выедки»), и непогоду, наседавшую над Ангарой безысходной матовой серостью («лужа подёт», «гром зарвётся»). А я и не помню уже

ни лихих гроз с оглушительными разрядами (будто взрывается подстанция рядом), ни бушующих ливней, обращающих улицы в бурлящие реки, ни животворящего золотистого неба, изодранного стихией. Всё где-то вчера. Всё вчера. А то, что Машенька называет грозой – не так давно обретенный довесок Сибири: питерская морось, повсеместная московская хлябь и ленивые тамтамы азиатской осени. Подгуляло лето на стороне, закисло. А ведь август ещё в разгаре.

– Своих-то давно видел?

– Сына неделю назад, мама позавчера приходила.

– А...

– Давно.

– Не очень-то ты разговорчивый трезвый. Точно бездомный.

– Грустно, Соня. А дом, это когда в воспоминаниях горечи нет... Бездомный, да.

– Так займись чем-нибудь наконец. Кредиты когда-то закончатся.

– Нечем. И скучно.

– Вот, счастливый человек. И какая польза от ничего? – (Опять двадцать пять!)

– Соня, я нянчу чужого ребёнка, приношу тебе регулярный доход, ты кормишь, поишь и делаешь сны людей волшебными. Я – полезен.

– Злишься.

– Констатирую.

– Кого можно было спойть и снюхать – все на той стороне. Чего мне стыдиться?

– Ну уж нет! Стыдятся совестливые, а у тебя, моя дорогая, – расчёт. Но я без претензий.

Самогон отличный! И капуста – шик! – как раз принесли.

– Матвей!

И без того круглые глаза Софьи округлились ещё больше, точно нацелились на кого-то за моей спиной: так она выражала гнев, становясь при этом чертовски желанной. Изюминка – лёгкое косоглазие – делала её похожей на беззащитную и доверчивую Рыбу МакКлейн в исполнении Эмили Уотсон⁵. Однако не так проста была наша «бабушка» Соня, владевшая, по сути, полулегальным алко- и наркопритоном.

– Осуждаешь? – слышались стальные нотки, знакомые каждому пропойце в нашем околотке.

– Осиздаись! – попробовала Машенька грозно сымитировать подружку и бухнула вилкой о стол.

– Нет, нет, девчонки, сдаюсь! Кому-то же надо занимать нишу, – не понимаю, отчего просочилась язвительная ирония. – Даже цыгане теперь наркотиками не торгуют и детей не воруют.

– И незачем. Эти промышляют душами, – отмахнулась Софья – отходила она также легко.

– Выедки! – вставила веское слово и Маша с набитым ртом.

– Кушай, кушай, моя хорошая. Не обращай внимания.

– Ну? За новый мировой порядок? – я поднял первую гранёную соточку с горкой (терпеть не могу графины), подцепил стожок капусты с клюковкой и поскорее выпил.

– И кому нужен такой порядок? Любой порядок? – вздохнула Соня. – Ни кулаков, ни правды.

– Так кулаками давно не защищаются, Софья, и не защищают: ни добро, ни зло, ни себя. Да и ни к чему оно. Когда в перспективе нет идеи – это свобода, порядок, как есть: всегда можно ответить нажатием кнопки. Плюнул на людей – достиг nirваны... Уф! – от первой всегда бросает в жар. – Из чего ты это делаешь, Соня?

– Злой ты, Мотя. Сегодня – особенно злой! Приходи вечером, поговорим.

– Машеньку уложу – приду... Погуляем пока.

– Опять к цыганам?

– Попробую. Может, скинут немного.

– Попробуй, – Соня брезгливо поморщилась. – Я против тварей бессильна.

И невозмутимо вернулась за барную стойку готовить кофе. Я же допил одну за другой оставшиеся соточки, не без удовольствия захрумкал капустой, вытер липкую мордашку Машеньки, успевшей «зарклепить» косички сгущёнкой до откисания в тазике, извинился-таки на всякий случай и был награждён очаровательной улыбкой Золушки. Мы вышли под небо, обсеянное золотыми чешуйками, подобревшее, вселяющее надежду и не торопясь побрели к цыганам. Бояться нечего: ни погода, ни люди их не заботили. Напротив, они оставались приветливы и дружелюбны. Но непоколебимы, да. Ещё никто и никогда не пришёл к компромиссу с кочевниками.

7

В первое время, когда всё это случилось, перекопали чуть ли не всю долготу в надежде найти лазейки. В Иркутске вспомнили о дореволюционных коллекторах и о подземных ходах, большая часть из которых оказалась мифом, подкопы рыли. Без толку. Взяли в субстанции, на какую бы глубину ни опускались. Один чудака вертикальную шахту пробил во дворе дома на Марата, воду откачивал, стены изолировал, до двадцати метров дошёл, пока не завалило насмерть. На «полуострове» два пацана и жена остались. Поднимать не стали: закупорили дыру по просьбе вдовы, крест поставили, как напоминание, и на другой стороне такой же установили, зеркальный. Феерическая голгофа и ныне в цветах с обеих сторон: всё-таки первая жертва психологического митоза^б, в терминологии учёных, или Божественного Сечения – так окрестили чертовщину конфессии. При этом наука и религия продолжают яростно спорить: конец ли света приключился или только его начало. По мне же, смерть наречённого мученика – пример восхитительного идиотизма, продиктованного неистовой верой, любовью, самоотречением, гибель Икара. А как ещё появляются на Руси наиболее обожаемые памятники и легенды, обогащающие фольклор политиков? Ну и колодцы, конечно: их же сотнями роют, чтоб хоть один наполнился.

А самым затратным и, по большому счёту, единственным безопасным вариантом проникновения оставалась околоземная орбита. В первый же год Сечения космические программы ведущих стран переориентировались на многофункциональные пассажирские и транспортные перевозки. Махнуть шаттлом на недельку в Майами какому-нибудь малазийскому миллиардеру – вроде бы ничего, но в пересчёте на вчерашнюю реальность, когда мечталось о звёздах, как о достопримечательностях, – не забалуешь. Сколько могло стоить путешествие смертному? Не бюджетный отдых в крошечном Тае, а воссоединение с семьёй на просторах рассечённой родины? Что говорить, и у тех, кто жил далеко от злосчастной долготы и никак не пострадал от митоза, вдруг проснулась необъяснимая тяга соприкоснуться с «той стороной». Блажь, разумеется, но «за ваши деньги...» Утраченная тактильность – вот, что обеспечивало сверхприбыли. Доставка грузов не приносила такой доход, и ни к чему была, с точки зрения большой экономики. Как ни странно, общие нефте-, газо-, водопроводы, канализации, электрические, тепловые сети, кабельные, эфирные и прочие коммуникации продолжали функционировать и не причиняли особых неудобств (не беря во внимание возросшие аппетиты монополистов, конечно, сложную эксплуатационную логику и поголовную нищету примеридианного населения). Если кто-то чего-то и перевозил, то опять же в частном порядке, поскольку передать на Земле отдельные предметы не получалось: они попросту исчезали, как та бутылка, которую в сердцах швырнул Егор (мы пробовали привязывать к коту разные мелочи – игрушки, бантики, столовые ложки, но они испарялись, как только зверь пересекал черту). Вот и переправляли орбитой в основном золото, драгоценности, необработанные камни, шедевры искусства, технологии в виде приборов и механизмов, архивы. Понятно, лазеек хватало: при марже перелёта в десятки миллионов долларов контрабанда и коррупция процветали. Стоило пограничникам не закрыть на что-то глаза, разгорались увлекательные криминальные, а то и шпионские скандалы.

У остальных, неискушённых орбитами, оставалась одна надежда – цыгане. Уж не знаю, по какому великому предназначению изгой оказались избранными: они, и только они получили право беспрепятственно ходить туда и обратно. А специально подготовленный кочевник мог перенести за меридиан человека весом, не превышающим половины его собственного: ребёнка или высохшего старика. Но и здесь возникали нюансы. Во-первых – цена. В первое время она зашкаливала неистово: доходила до ста тысяч долларов за килограмм живого веса. Продавали квартиры, машины, ценности – всё продавали, только бы воссоединить грудничка

с матерью. Что говорить о годовалых, о детях постарше? Не хватало – морили голодом. Ромы не делали скидок ни бедным, ни богатым. И только сейчас, когда отладилась космическая программа, и толстосумы решили не рисковать, цыгане переориентировались, радикально снизили ставку, привязали к золоту, верные роковому металлу: шестнадцать тройских унций за килограмм. Сурово, конечно, учитывая, что расчёты производились именно в золоте, а купить его в чистом виде по сносной цене на спекулятивном рынке было практически невозможно. Оттого и нищали, вымидали и криминализировались примеридианные территории.

Риск – во-вторых. Цыгане не давали никаких гарантий успешности перемещения: обычный, здоровый ребёнок мог погибнуть в двух случаях из десяти, стать растением или потерять память – в трёх. Обоюдно, впрочем: эта же участь постигала и переносчиков при неудаче. Они и без того истощались настолько, что восстанавливались по несколько дней, а то и недель, как выдоенная алкоголем печень. Тем и объяснялась невероятная стоимость услуг. Казалось бы, всего один шаг, какие-то секунды судьбы... И никто не знал ни механизмов, ни закономерностей. Насколько возможно (насколько ромы подпускали к себе), пытались выяснить учёные, предположив, что дело в генетике. Неубедительно.

Кто бы взялся определить чистокровность бродяги по его неразборчивой родословной с бесконечными ассимиляциями? В итоге кочевников осудили конфессии, а правительства объявили их нелегалами, хотя и не трогали, и традиционный криминал самоустранился от любых контактов: наземный транзит оказался и вне закона, и вне сферы общественных интересов. Как, например, никого не волнует терроризм, пока не приходит в твой дом. Но отчаявшиеся люди продолжали верить, продавая последнее, и рисковать, доверяя жизни рулетке.

8

В таборе нас принимали тепло и даже сочувствовали. И мы с Машенькой неплохо относились к бродягам, несмотря на условности меридиана. Это были свободные кочевники-люли из Средней Азии, которые редко забирались дальше Урала. Традиционных же, безуспешно одомашненных «сибирска рома»⁷, переселённых из Прибалтики Елизаветой и из Крыма Сталиным, в Восточной Сибири насчитывалось около полутора тысяч человек (выкопал в процессе изучения «противника»). Понятно, отчего так эпизодически они возникали на улицах города, предпочитая наркоманские околотки и депрессивные окраины. Теперь же привычные советские цыгане исчезли вовсе. Во-первых, пришлые осознанно отказались от наркотрафика, дабы не конфликтовать с властями, и в пользу более надёжных вложений. Ходили слухи, что азиатский клан – лишь мизерная часть зарождавшейся на Ближнем Востоке империи, чуть ли не на Земле обетованной, а доходы от перемещений шли в общий котёл, далее инвестировались в наиболее привлекательные секторы экономики: безродное племя-де, обладая реальным золотым запасом, на корню скупало сырьевые и высокотехнологичные бизнесы по всему миру. Во-вторых, сибирские цыгане не считали люляек⁸ родственными и имели стойкую маргинальную зависимость, далёкую от киношной романтики, и это мешало деликатным восточным люлям культивировать доверительные отношения на вверенном участке. И, скорее всего, засвеченные иркутские «братья» переметнулись на другую точку меридиана. Аплодирую кочевой логистике. Подобным, до Божественного Сечения, могли похвастать разве евреи или вездесущие китайцы. Хотя... всегда найдётся кто-то более важный, стоящий за кем-то менее важным.

Мои же наблюдения полностью совпадали с бесхитростной оценкой двухлетнего ребёнка, девочки, что важно, которая, попадая в табор, тут же забывала агрессивные отцовские эпитеты: люди-люли были внешне красивы, дружелюбны («касивы», «дурзя»), немного театральны и во многом, если не во всём, разрушали устоявшиеся стереотипы. Мужчины выглядели согласно статусу вольных домоседов: кто в привычном образе «неуловимого» Яшки⁹ в яркой рубахе с широким воротом, в короткой жилетке, атласных штанах, туго схваченных широким поясом, в хромовых сапогах и с огромной серьгой в ухе – наверное, служили визитной карточкой; те, что помоложе, носили спортивные куртки, треники и стильные кроссовки на босу ногу – «конкретная» пародия на девяностые; а иные слонялись в заношенных халатах поверх грубой льняной одежды и в тюбетейках с вышивкой – простолюдины из «Али-Бабы». Их певучие зычные голоса, чем-то похожие на мяуканье тайцев, обманывали: не разберёшь, кто именно гоняет или поучает непоседливую ребятню – прыщавый юноша или уважаемый всеми ром. И стар, и млад одинаково в тонусе, а статус определяли только седые волосы. Женщины по восточной традиции облачались в длинные узорчатые платья, бесформенные, как простынки на себя рядили, а некоторые и голову покрывали цветными хиджабами. И на подбор: от условных пятнадцати до гипотетических тридцати. Стройные, гибкие, с тяжёлыми чёрными косами, унизанными бисерными и золотыми шнурками. Выстроились бы в ряд, легко сошли за горем щедрого сластолюбивого падишаха, настолько их смуглые упругие лица оттеняли свет улыбок и жгучие, внимательные, жадные до жизни глаза – сквозило в них что-то генистое. Владелица цветника и глава клана, как водится, уважаемая старуха Лиля¹⁰ (собственно, единственная пожилая дама в таборе), деятельная бабка корсарской наружности с болотными от насвая¹¹ зубами и со слегка ехидным сморщенным ртом, на деле представляла добрейшим и обаятельным существом, как минимум, для Машеньки: та не слезила с крючковатых жилистых рук и постоянно выковыривала конфеты из карманов дырявого фартука. Папаша бы убил за такую «дружбу» обоих. Особенно за конфеты. Но, к счастью, Егор не знал, что наши про-

гулки зачастую приводили к цыганам, малышка же ничего не рассказывала: и не то, чтобы я запрещал или боялась. Просто переставала любить отца... Плохо это – переставать любить.

А я бесстыдно пользовался услугами дармовой няньки: хоть как-то расслабиться в театральности – и в прямом, и в переносном смысле. С одной стороны, как, наверное, и девяносто девять процентов оседлого населения планеты, терпеть не мог цыганщину, во всяком случае, в естественных условиях. Наши условия естественными не назовёшь. Нормальные или чуть фартовые люди давно покинули примеридианные территории, отдав за бесценок квартиры, дома, земли всё тем же кочевникам или барыгам-риэлторам, а залипшие неудачники, привязанные к разбитым семьям, к бессрочному одиночеству, спивались, скуривались, скалывались, бродили фантомами по пустынным улицам и старательно избегали друг друга. Если на 104-й и случались нападения, убийства, то, как правило, – разборки среди чужаков, использовавших обделённую зону как банальную «стрелку». Местные были и так «мертвы». Потому и общался я исключительно с Софьей, раздражавшей нравочениями, с Егором и его семьёй по принципу пастора в исповедальной кабинке (Машенька – не в счёт) и с цыганами, проникаясь их необычностью и непроходимостью. Занятное приключение, не правда ли? Избавиться от монохромной жизни, помочь товарищу или вывести мошенников на чистую воду.

Кто жил на Востоке – поймёт. Дружелюбие улыбчивых люли вовсе не означает дружбу: открытого сердца мало, терпения больше. И здесь – другая сторона увлечения табором. Именно эти кочевники радикально отличались от привычных цыган: то ли не были ими вовсе, то ли, наоборот, представляли то самое древнее колено дёмов¹² (звучит-то каково для бездомных?) – тысячу человек, подаренных индийским падишахом шаху Персии в знак мира и признательности. Отсюда исчисляется их исход, и какие именно ассимиляции породили «фараоново племя», «египтян», «богемцев», «бошеби», «коли», «ромов»¹³ и иже с ними, до сих пор нет единого мнения. Вот почему семнадцатилетняя очаровательная Умида, которую соплеменники почему-то сторонились, за глаза называли несколько фамильярно, хоть и уважительно – «узбечка», согревала мне душу своей непохожестью на непохожих на цыган людей.

9

Круглолицая, с проникновенным взглядом лани – глаза, живущие сами по себе, восхищающие поэтов и не дающие разыгаться похоти, с пухлыми детскими губками и почти прямыми бровями, делающими лик взрослее и строже; всегда в тугом однотонном платочке, в простеньком платье до пят: светло-серый, пепельный – главные цвета Умиды; и никаких восточных изысков, побрякушек – такое ощущение, что девушка дала обет безбрачия собственной красоте. Худенькая, с плечами, как у семиклассницы, она могла бы согнуться мне в дочери, если бы по внутреннему мироощущению не превосходила сотни таких, как я, и мудрецов заодно с мыслителями. И не об уме речь – земная шкала IQ неуместна: напротив, юная цыганка мало чем отличалась от Машеньки, познающей средю обитания собирательством плюсов и минусов. Дело в простоте, с которой она определяла место в клане, в жизни, в конкретном случае, в отрезке времени и которой следовала повсеместно, какие бы трудности и комбинации ни вставали на её пути. Самая молодая, удачливая, отчаянная и бескорыстная переносчица, прославившая Сибирь на весь мир. Вот кем была узбечка. Она не принимала участия во взвешивании детей, назначении платы: этим занимались Лила и свадебный генерал Баро – тщедушный разодетый в шелка барон лет пятидесяти с жидкими свисающими усиками, с желтоватым бельмом на правом глазу (отчего левый, казалось, набухает гноем), единственный персонаж, неприятно выделявшийся на фоне сородичей. К Умиде стекались люди со всего меридиана, запись велась на месяцы вперёд: не более человека в неделю. А девушка переносила чаще. И кто знает, какой ценой.

Я любил Умиду, собственно, как Машу, Соню и даже истеричную Лизу. И Умида любила меня: так найдёныш-котёнок процарапывается в душу, совершенно не различая её оттенков, ища созвучий. Странная это любовь. Если Машенькой я восполнял ущербность отцовства, в Софии искал отголоски растроченной дружбы, Елизавету воспринимал ностальгией по семейной жизни, то цыганка покорила любовью как таковой. Ни «за что», ни «потому что», а просто так. Она любила малышку – я любил её за эту любовь, любила цветок, и я любил её за любовь к цветку, любила Баро непонятно за какие заслуги – я вздрагивал от омерзения и восхищался ненормальной любовью. Изумительное чувство возникало приступами, самопроизвольно, независимо от того, где находилась узбечка. Достаточно было вспомнить взгляд, имя, чтобы утратить реальность и превратиться в сентиментального нытика: накормить вонючего попрошайку на ступенях кафе, обнаружить в облачке медвежонка Умку из детства (а не приметы плохой погоды), стерпеть закидоны Егора, а то и всю семейку осчастливить участием – немислимая щедрость. Вот что творила со мной эта девушка. Я будто любил любовь Умиды, а не Умиду-человека.

И будь я безнадежным платоником, давно бы утратил вкус жизни, таскался бы за своей Эсмеральдой, как Гренгуар, Фролло и Квазимодо¹⁴ вместе взятые. Но, увы, с некоторых пор обленился душой, дабы изобретать чудеса и превращать волшебные ленты в какую-то романтическую историю. Мне доставало созерцания предмета искусства, если хотите, или уникальной научной загадки, зашифрованной в цыганском таборе. И любить любовь безопаснее, чем любить – ни к чему не обязывает. Как восхищаться музыкой на одной волне с кем-то, кто восхищается музыкой: всегда есть кнопка самоконтроля, всегда может закончиться трек. А любовь отключает разум, как страсть отключает мозг... Нет, нет, похоть жила отдельно. И если уж на то пошло, чаще волновала Сонечка кукольными нарядами и, главное, рассеянным взглядом «мимо меня». И давно бы симпатия переросла во что-то сладострастное, а то и развратное (у бездетной Софы так никто и не завёлся), не будь хозяйка кафе столь внимательна к прошлому и столь нетерпима к будущему. Но если честно, и здесь не усердствовал: доступных нимфоманок водилось в достатке...

10

- А, Матве-е-ейка! Садись, пей, грейся! Прекрасный день! Прекрасные люди!
- Привет, Лиля. А Умида?
- Двух мальцов за раз! Сильная Умида! На той стороне Умида! Отдыхает Умида!
- За раз?
- Сама решила. Узбечка. Что ты хочешь? О! Наша красавица!

Изрядно хмельная Лиля расплылась в кривой улыбке и протянула к малышке костлявые руки с когтистыми пальцами, что в свете костра походило на фатальную сцену из фильма ужасов. Никогда не понимал, как могут уживаться в человеке противоречия, несовместимые с бытием, с любыми его оттенками. Но Машенька с искренней радостью впорхнула в объятия «монстра» и тут же запустила проворные ладошки в подол. Поистине, «чем страшнее чудовище, тем больше к нему почитания»: вспомнился вдруг один персонаж из Сониной забега-ловки – пьяница-актёр, обожающий комментировать новости.

– Ах, чертовка! – цыганка чмокнула белокурую макушку соляными губами и первой выудила из тряпья батончик «Баунти». – Лопай, лопай, моя золотая! – прозвучало по-сатанински, ей-богу.

– Жирок подкачиваешь, Лиля? Егору бы не понравилось, – живо представилась ярость отца.

– Да брось, Матвей! – загоготала старуха. – Ребятню радость в калориях мерить! Фу! Девчата от мыслей толстеют, а не от конфет.

Разговаривать о делах при таком коварном благодушии – бессмысленно. Как бы Лиля ни пестовала малышку, что бы там ни молола спяну, бизнес оставался бизнесом. Разумеется, папа не морил дочку голодом, и развивалась она, как и положено ребёнку: росла и крепла. Год назад весила около девяти килограммов, и с учётом дикого цыганского курса о перемещении не могло быть и речи. Сегодня Маша дотянула до двенадцати с хвостиком, что в зафиксированных унциях означало зловещую цифру – 192,17. Четверть миллиона долларов, чтоб вы были здоровы! Егор взвешивал малышку почти каждый день (ритуальная бессмыслица с дотошными записями), мрачнел от неучтённых граммов, гонял в туалет, снова взвешивал. Слава богу, Машеньке это казалось игрой, не более: глобальные проблемы девочку не заботили. Отец пахал на трёх работах, традиционно доступных гуманитариям в кризисе, – грузчиком, сторожем и курьером; мама – третья скрипачка во втором ряду симфонического оркестра – давала частные уроки музыки и следила за тестем: выносить инвалида теперь было некому. Разделённая квартира практически ничего не стоила, максимум двадцать тысяч; богатых дядюшек при смерти не имелось: вообще родные как-то сразу растворились, узнав о проблемах Егора, Лиза же была сиротой при живых родителях. Мои «прибыли» исчислялись стабильной, но не такой уж весомой рентой от сдачи недвижимости в Таиланде, причём, не своей; банки, понятно, социальные драмы не интересовали; а отчаянные посты тонули в фальшивом сочувствии «лайков». Итого доходы семьи, включая пенсию и квартплату жильца, и не беря во внимание случайный калым, составляли около восьмидесяти тысяч рублей – примерно поровну на каждую сторону. А Маша тянулась, исправно набирала вес, то ли на счастье, то ли на горе родителям, и надежда таяла пропорционально взрослению.

– А то бы оставила дочь отцу, чего упираться-то? – пьяная старуха вечно заводила одну и ту же пластинку. – Лизка – она истеричка, рохля, спортит Машку-то! А наплодит ещё! Хлопот-то... Молода, красива, живуча! А Егорка толковый, даром пропойца... Ну, ничего, поостынет, коли решат... И мне бы в радость.

– Тебе-то какая радость, Лиля?! – в такие моменты хотелось её придушить. – Или готова упустить выгоду? А что скажет барон?

– Барон – долдон! Я тут – барон!

– О да, уважаемая! – я рассмеялся, как можно ядовитее. – Останется Машенька здесь – по нулям и горе матери, переправишь даром – опять же по нулям, но счастье. Терять-то вроде и нечего. Тебе и решать.

– Даром? – цыганка будто протрезвела, но не уловила иронии. – Это никаких... Не поймут...

– Ты ж – начальница!

– Ай, Матвейка! Ай, заболтал старуху! Нехорошо, Матвейка! Садись, лучше. Пей лучше! Хороший день! Хорошие люди...

– Да, да, Лиля, кого-то вы осчастливили сегодня, – махнул рукой и направился к Умиде.

Пьяные ромы несносны. Эти, во всяком случае. Чужим не хамят, в драку с ножами не лезут – скорее, трусливы до храбрости, не норовят облюбовать в чувствах, не пускают слезу, не читают морали. Но под градусом их легендарная плутоватость становится какой-то непрошибаемой, школьной, из разряда «дурак – сам дурак». Стоит подловить на мелкой безобидной лжи, она тут же обрастает несусветным враньем, вольно-неволью задаёшься вопросом: точно не идиот? И главное, не вычислить цель бессовестного лукавства. Я же знаю, что они постоянно внушают Егору: Машенька-де без матери пропадёт, и уже бы перенесли, но без денег никак – умрёт ребёнок, люлей накажут; таковы условия хозяина, бога, космоса... – здесь вариации бесконечны. И Егор не то чтобы вёлся – он ненавидел кочевников, материл их и даже врезал барону однажды (за что извинялся после перед старухой): нет, скорее смирился и опустил руки. С одной стороны терзаемый Елизаветой, то умоляющей, то требующей вернуть дочь, то пристально следящей за её рационом, с другой – цыганами, он перестал верить во всё, что нельзя потрогать руками: в любовь, в справедливость, в вечное сияние чистого разума. В золото, полагаю, тоже. Не ищущие головой не знают отчаяния – стимула нет, пусть и душа в поиске. Угасал Егор.

11

Умида отдыхала на той стороне в небольшой палатке в полуметре от черты, разделяющей мир на небольшом отрезке в дальней части Юности: восточники попадали сюда с другого примыкающего острова, через мостик над узкой протокой. Собственно, и табор поделился на два лагеря: из соображений безопасности и для удобства клиентов. В центре условной границы – одинаковые полупрозрачные шатры, собранные половинками друг против друга, будто эстрады с минимальным зазором меж ними. Здесь перемещали детей. Что в принципе можно было сделать в любой точке 104-й, но антураж оправдывал себя: и цыганам спокойнее (нападения в случае неудач – не редкость) и эстетика не страдала – рубеж пропускал исключительно в первозданном виде. Поэтому люди имели минимум по два комплекта повседневной одежды, и не особо стремились соответствовать привычному облику: ряженые – не в счёт. Тут же располагались просторные гостевые юрты, увитые на азиатский манер пёстрыми лентами, убранные изнутри коврами, парчой и шкурами, с дежурным запасом вина, водки, сока, фруктов и изысканных сладостей. Разумная щедрость при такой-то марже. Чего не скажешь об обычно захламлённых кельях самих цыган.

Быт же Умиды, нехитрый гардероб являлись исключением во всём: ни восточной показной роскоши, ни цыганской сорочьей безвкусицы – этакий спартанско-монашеский конформизм. Одноместные палатки, как и шатры, и юрты, разбитые зеркально, наверняка приобретались в одном магазине и отличались только нашивками на козырьках: на западной – жёлтая, на противоположной – оранжевая (единственные яркие тона узбечки). Кажется, и заплатки на серой ткани возникали парно. Находились убежища поодаль от лагеря в поросли березняка, так, что легко можно было перебираться из «квартиры» в «квартиру», не боясь обнаружиться для посторонних. И никто никогда не видел Умиду обнажённой – это признавали и городские сплетники, и самые болтливые соплеменники. Поэтому в тайнстве перемещений силуэт нагой девушки, остававшейся один на один с ребёнком за матовой тканью, будоражил воображение. Лила, Баро, две юные ассистентки из табора да мы с Масяней – те немногие, кого узбечка допускала на свою территорию. А чужаков гнала, упреждая отрывистым визгом сыча. Я слышал. Мягко говоря – морозные ощущения.

Изнутри кельи выглядели столь же синхронизированно, аккуратно и рационально: одинаковые чёрные карематы по всей площади, однотонные коричневые спальники, тёмно-зелёные тряпичные рюкзаки среднего объёма – они же служили подушками, плетёные корзины с нехитрой утварью и личными вещами (подозреваю, идентичными) и винтажные фонарики под крышами – такие используют на летних верандах. Некоторую дисгармонию в угнетающий минимализм, видимо, в унисон нашивкам на козырьках, вносили улыбочивые и слегка шальные образы Христа и Будды, выписанные позолотой и охрой на дальних стенках палаток – с запада и с востока, соответственно. Со временем я привык к необычным собеседникам Умиды, если они, конечно, беседовали, но поначалу их фривольные аватары обескураживали: создавалось впечатление, что боги дурачатся, глядя на поделённый мир, как на шахматную доску. А узбечка лишь пожимала плечами: «Вижу так. Вы не замечали? Ведь люди они!» «Конечно, конечно, люди!» – приходилось соглашаться. В конце концов, правда. Но чудачка и здесь разрушала стереотипы: «Сразу родились людьми. А мы людьми становимся трудно и через время. Раньше, позже... Все становимся». Обнадёживало, безусловно.

– Можно? – осторожно позвал девушку.

– Матвейка? – тихо отозвалась Умида. – Пришли! Как замечательно пришли... Чай у входа, в термосе. Идите, пожалуйста. Идите, Машенька.

Ещё одна удивительная особенность: ко всем без исключения обращаться на «вы». И к малышам, пускающим пузыри, и к ребятам посмышлённее – те недоумённо озирались

по сторонам и подозрительно рассматривали странную тётю, и к взрослым, кои тут же переставали тыкать. И к животным, ей-богу! Сам слышал, как она учтиво разговаривала с лошадью.

12

Пока я пробирался к палатке напротив, Умида расположилась у входа со своей стороны, подобрав ноги. Выглядела измотанной, вялой: глаза потускнели, ввалились, и без того чернушние, стали совсем угольными, как у образцового инопланетянина; губы потрескались, побелели; резко обозначились скулы. Но девушка старалась бодриться и улыбаться: искренне и виновато, словно каясь на всякий случай.

– Я не вовремя. Может, после...

– Нет, нет, садитесь, Матвейка. Немножко испортилась Умида. Только немножко, снаружи, – шутит ещё.

– Простите?

– А Машенька? Маша!

– С Лилой она. Пока шоколадки не вытаскает – не успокоится.

– Бедненькая малышка, бедненькая. Детки такие слабые, у них нет защиты против конфет.

– Вы устали всё же. Давайте я завтра...

– Матвейка, возьмите руку, – Умида внезапно подалась вперёд, закатала рукав и протянула игрушечную ладонь. – Чувствуете?

– Лёд! – подушечки пальцев обжигало холодом. – Господи! Замёрзла совсем!

– Остыла, Матвейка. Деткам нужна тепла гораздо больше, чем взрослым. Иначе гибнут при переходе... А теперь? Чувствуете?

– Да... Да. Поразительно! – в какие-то секунды ладонь полыхнула жаром.

– Это – вы, Матвейка. А говорите – завтра... Мне трудно, если никого нет близко.

– А почему не помогают ваши?

– Они – семья.

– Тем более.

– Матвейка, у семьи не забирают то, что прибыло от тебя. Можно только давать.

– То есть, – никак не мог привыкнуть к её простоте, – какая-то часть меня прямо сейчас перетекает к вашей семье?

– Конечно. Лучшая часть! – Умида оживала: я едва не отдернул руку. – Нет, нет, не бойтесь. Пока вас любят – вы не иссякнете! – она слегка пожала мне пальцы и убрала ладонь. – Спасибо, Матвейка! Я вас люблю!

И это невинное признание могло быть двести восемьдесят четвёртым с момента нашего знакомства, веди я учёт. При первой же встрече позвучало нечто подобное: «Вас надо любить, Матвейка». Тогда мы с Егором заявили в табор изрядно подшофе и устроили барону судилище со всеми вытекающими: оскорбления, крики, угрозы, едва до мордобоя не дошло. У приятеля вовремя отобрали битку. Он ушёл, а я остался у костра допивать прихваченную на всякий случай миротворческую водку и ещё долго пытался самоидентифицироваться в области человеколюбия. Добродушные люли, как мне показалось, слушали с интересом, сочувствием, с аккомпанементом – кто-то приглушённо перебирал струны, а потом появилась узбечка, которую до того не видел, и сказала то, что сказала. Кому «надо» и «почему» – не уточнил. Как и сейчас не нашёлся, чем ей ответить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.